

К. М. Станюкович

**Похождения одного
матроса**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
С75

Станюкович К.М.
С75 Похождения одного матроса / К. М. Станюкович – М.: Книга по Требованию, 2012. – 272 с.

ISBN 978-5-4241-2165-4

Морские рассказы Станюковича проникнуты волнующей романтикой моря как символа борьбы и свободы, красоты и смелости; в то же время они глубоко лиричны в своей любви к безграничным российским просторам. Недаром современники называли его Айвазовским слова.

ISBN 978-5-4241-2165-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Константин Михайлович
Станюкович
Похождения одного матроса
Подлинная история из далекого
прошлого

Посвящается ТОЛЕ ФОКИНУ

ЧАСТЬ I

ГЛАВА I

1

В конце октября 185* года на большом сан-францисском рейде стоял русский военный паровой клипер «Проворный». Он находился уже год в кругосветном плавании, в составе эскадры Тихого океана, и был послан в Сан-Франциско с особым поручением адмирала.

Небольшой, весь черный, с золотой полоской вокруг, с красивыми линиями обводов, высоким рангоутом и белоснежной трубой, «Проворный» был один из изящных и щегольских судов среди нескольких военных и многих купеческих, стоявших на рейде под флагами всевозможных наций.

В один из чудных дней, солнечных, теплых и полных бодрящей свежести, какие не редки позднью осенью в благодатной Калифорнии, часа за два до обеда на «Проворном» было парусное учение. Клипер то одевался внезапно во все свои паруса, то столь же быстро снова оставался с оголенными мачтами. Все это делалось со скоростью, изумительной даже для педанта моряка прежнего времени, и, разумеется, среди мертвой тишины, нарушаемой только ругательными окриками старшего офицера, командовавшего авралом, да сдержанною бранью боцманов.

Действительно, матросы работали словно бешеные, надрываясь изо всех сил и не думая, казалось, что малейшая неосторожность, малейший зевок и смельчак сорвется с реи, шлепнется с высоты на палубу, разможит себе голову и более уж никогда не встанет, а не то упадет за борт, и хорошо еще, если в тихую погоду, когда возможно спасение.

Глядя на эту лихорадочность работы, на эти напряженные испуганные лица надрывающихся людей, которые с отвагой, ни для кого и ни для чего не нужной, рисковали жизнью, сразу чувствовалось и понималось, что эти люди надрываются из-за страха.

Матросы работали как бешеные не потому, что хотели отличиться, а потому, что боялись офицеров и главным образом этого высокого, худого, рыжеватого лейтенанта с возбужденными, серыми, маленькими глазками и пожилого низенького толстяка с бульдожьим лицом, окаймленным черными заседевшими бакенбардами.

Оба они — и старший офицер и капитан — сосредоточенные, с суровыми лицами, стояли на мостике и зорко наблюдали за учением, на котором в эту минуту, казалось, сосредоточились все их помыслы. По временам и тот и другой взглядывали на часы, чтобы проверить, сколько минут продолжался тот или другой маневр.

Еще бы матросам не надрываться!

Они уже год как «мотыжились», по их выражению, на «Проворном» и отлично знали, что за малейшее опоздание в работе, за недосмотр, хотя бы и невольный, по службе их ожидает лаконический возглас: «На бак!» — что значило наказание

линьками.

В те далекие времена во флоте еще царила строгость, доходившая нередко до жестокости.

Капитан и старший офицер «Проворного», оба отличные моряки и по натуре вовсе даже не злые люди, тем не менее, согласно взглядам большинства моряков того времени, считали словно бы своею обязанностью быть беспощадно строгими с матросами. И, закаливши смолоду свои нервы на службе, они действительно были беспощадны, особенно старший офицер, искренно убежденный, что только суровыми наказаниями можно выдрессировать матроса и сохранить в полной неприкосновенности суровую морскую дисциплину.

2

После того как несколько раз ставили и крепили паруса, старший офицер скомандовал:

— Марсея менять!

Эта работа, состоявшая в том, что надо было снять паруса с рей и привязать на их место другие, принесенные из шкиперской каюты, была «коньком» старшего офицера. Нечего и говорить поэтому, как старались на обоих марсах. Но грот-марсовые на этот раз отстали от фор-марсовых: эти переменяли марсель в восемь минут, а грот-марсовые в десять.

На целых две минуты разницы.

К общему удивлению, старший офицер даже не выругался, а только значительно потряс кулаком на грот-марс.

— Ну и здоровая же будет сегодня лупцовка, братцы! — прошептал на марсе пожилой и с виду «отчаянный» фор-марсовый Кирюшкин.

Кирюшкин проговорил эти слова с философским равнодушием, казалось бы несколько удивительным, по крайней мере в человеке, не сомневавшемся в предстоявшей «лупцовке». Но он недаром считался «отчаянным». Часто наказываемый за неумеренное пьянство на берегу, он ожесточился и считал ниже своего достоинства выказывать страх.

Все марсовые, бывшие на марсе в ожидании команды «С марсов долой!» — выслушали Кирюшкина в угрюмом молчании, с видом покорной подавленности.

Только один молодой матросик, бывший на службе всего второй год, небольшого роста, худощавенький и «щуплый», как говорили про него матросы, характерно определяя его тонкую, недостаточно, казалось, крепкую, статную фигурку, внезапно стал блеее рубашки, и взгляд его больших серых, необыкновенно добродушных глаз остановился на Кирюшкине с выражением ужаса и страха.

— Разве будут драть? — испуганно спросил матросик.

— А ты, Чайкин, думал, по чарке водки дадут! — насмешливо ответил Кирюшкин. — Небось форменно отполируют. «Долговязый» шутить не любит.

— И всех?

— Обязательно... Чтoб никому не было обидно!.. Да ты что нюни-то распустил с перепуги? А еще матрос! — сердито промолвил Кирюшкин.

— Чайкина еще никогда не драли. Ему и боязно! — заметил кто-то.

— А может, Иваныч, нас драть не будут?

— Небось будут! — уверенно и спокойно проговорил Кирюшкин.

Но, взглянув на испуганное лицо молодого матроса, прибавил почти что ласково:

— Да ты не обескураживайся, Чайкин... Не стоит! Много «Долговязый» не назначит.

В эту минуту с мостика раздалась команда:

— С марсов и салингов долой!

— Вот сейчас и учению конец и шлифовка будет! — словно бы довольный ее близостью, проговорил Кирюшкин и вместе с другими стал спускаться бегом по вантам.

Действительно, учение скоро окончилось, и старший офицер, подзвав боцмана, сказал:

— Грот-марсовых на бак! Двух унтер-офицеров с линьками!

— Есть, ваше благородие!

Боцман отошел от мостика и, направляясь на бак, крикнул:

— Грот-марсовые на бак!

А Кирюшкин тем временем говорил двум унтер-офицерам:

— Чайкина пожалейте, братцы: он щуплый.

Через минуту-другую среди внезапно наступившего на клипере угрюмого молчания кучка грот-марсовых выстроилась на баке с Кирюшкиным на фланге.

Вслед за тем пришел старший офицер.

При виде этой кучки людей он почувствовал злобу к ним, как к виновникам того, что «Проворный», так сказать, «опозорился», а вместе с ним и он, старший офицер, у которого могли на две минуты опоздать с переменою марселя. В его глазах это казалось ужасным, и долг службы требовал, чтобы были наказанные. Но так как трудно было разобрать, по чьей именно вине вышла заминка, то наказаны должны быть все, не исключая и марсового старшины.

Чайкин смотрел перед собою в каком-то оцепенении от страха. Выражение ужаса застыло в его больших глазах с расширенными зрачками. Он по временам вздрагивал всем своим тщедушным телом. И побелевшие, трясущиеся его губы неслышно шептали одни и те же слова:

— Господи Иисусе, пресвятая богородица! Господи Иисусе, пресвятая богородица!

И в голове его внезапно пронеслись воспоминания о далекой деревне, где ему было так хорошо и где его никогда не секли и дома редко били. Он был всегда старательный, работающий парень. И на службе, кажется, старается, из кожи лезет вон.

Молодой матросик отвел взор.

О господи, как было хорошо кругом!

Солнце, ослепительное и жгучее, так весело глядело сверху, с высоты бирюзового далекого неба, на котором ни облачка, и заливало блеском и город, сверкавший своими домами и зеленью на склоне горы под пиками сиер, и большой рейд с кораблями и сновавшими пароходиками и шлюпками, и кудряво-зеленые островки, и палубу «Проворного», играя лучами на пушках, на меди люков и кнехтов и на обнаженном теле Кирюшкина. Звуки музыки, веселые, жизнерадостные, доносились с большого белого двухэтажного, полного пассажирами парохода, который проходил невдалеке, направляясь из Сан-Франциско к одному из зеленых островов в глубине бухты. Белоснежные чайки реяли в воздухе и

весело покрикивали, гоняясь одна за другою.

Все кругом жило, радовалось, сверкало под горячими лучами солнца, и все это представляло собой резкую противоположность тому злomu, жестокому и страшному, что должно было сейчас произойти на баке «Проворного».

Молодой матрос почувствовал это, и тоска, щемящая, жуткая тоска охватила его замирающее от страха сердце.

И он снова зашептал:

— Господи Иисусе! Пресвятая богородица!

ГЛАВА II

1

Дня через два, тотчас же после обеда, боцман засвистал в дудку и, нагнувшись над люком жилой палубы, крикнул:

— Вторая вахта на берег! Живо!

Но о «живости» нечего было и говорить. Обрадованные, что урвутся на берег и хоть несколько часов будут в другой обстановке, матросы второй вахты торопливо мылись, брились, надевали чистые рубахи и сапоги и доставали из своих чемоданчиков деньги.

Кирюшкин сунул в карман штанов единственный имевшийся у него доллар, предвкушая удовольствие весь его пропить. Чайкин, не пивший своей ежедневной казенной чарки и получавший за нее деньги, бережно завязал в угол платка английский золотой и, кроме того, спрятал в карман еще два доллара — все свои капиталы, рассчитывая на берегу купить себе фуфайку, две матросские рубахи, нож и какой-нибудь гостинец, в виде платка, для матери. Он был ее любимцем и не забыл еще материнских ласк, не забыл беспредельного горя старухи, когда ее Васютку взяли в рекруты. В прежние времена служба солдата и матроса была долгая, двадцать пять лет, и потому матери, расстававшиеся с сыновьями-солдатами, прощались с ними навсегда. Больше не для кого было Чайкину припасать гостинцы в деревню: жена его умерла за месяц до того, как его взяли на службу; отца тоже в живых не было, два брата жили в городе, и Чайкин их почти не знал.

Рассчитывал Чайкин тоже и походить по городу, посмотреть на людей, которые, по рассказам старых матросов, прежде бывавших в Сан-Франциско, живут вольно и хорошо, и погулять в городском саду. Один земляк-матрос, ездивший на берег в первой смене, сказывал Чайкину что там очень хорошо и музыка играет, и Чайкин, большой охотник слушать музыку, хотел непременно побывать в саду, если найдет его. Вином молодой матрос еще «не занимался». Он хмелел после двух-трех рюмок водки и, главное, очень боялся вернуться на клипер в пьяном виде. Хотя взыскивали только с тех матросов, которые напивались до того, что их приходилось со шлюпки поднимать на клипер на веревке, но все-таки Чайкин остерегался. Однако стакан-другой пива он рассчитывал выпить. А то какая же иначе гулянка!

— Ну, что, Вась, собрался? — спросил Кирюшкин, подходя к молодому матросу, принарядившемуся для «берега».

— Да, Иваныч, любопытно съездить...

— Скажу я тебе, Чайкин, матрос ты во всем форменный, а линьков боишься,

дух в тебе трусливый. Тебе бы на «Голубчике» служить: там другое положение, там, Вась, командир жалостливый. Тебе, по твоему виду, надо у жалостливых командиров служить, вот что. А завтра меня опять отдерут! — усмехнувшись, неожиданно прибавил Кирюшкин.

— За что?

— А за то, что я сегодня напьюсь! Вот за что!

— Ты бы, Иваныч, полегче! — робко и в то же время сердечно промолвил Чайкин, благодарный Кирюшкину за его заступничество два дня тому назад.

Эти участливые слова молодого матроса, эти кроткие, благодарные глаза тронули бесшабашного пропойцу. И он, постоянный ругатель, не говоривший почти ни с кем ласково и готовый облаять всякого, не только не рассердился на замечание Чайкина и не обругал его, а напротив, взгляд его темных глаз, обыкновенно суровый, теперь светился нежностью, когда он, понижая голос, проговорил:

— То-то, никак невозможно, Вась. Такая есть причина! А тебе я любя скажу: не приучайся ты к этому самому вину, не жри его... Ну, а я...

Он не закончил речи, как-то горько усмехнулся и, снова принимая свой ухарский вид, прибавил:

— Однако нечего лясы точить. Валим, Чайкин, наверх!

Когда матросы были готовы и поставлены во фронт, старший офицер стал перед фронтом и сказал:

— К семи часам быть на пристани. В половине восьмого баркас отвалит. Кто опоздает и вернется на вольной шлюпке, тот получит сто линьков и в течение двух месяцев не будет отпущен на берег... Слышите?

— Слушаем, ваше благородие! — отвечали матросы.

— Ну, а ты, Кирюшкин, помни, — продолжал старший офицер, подойдя вплотную к Кирюшкину, — если опять напьешься, под суд отдам... Сгниешь в арестантских ротах... Не забудь этого, разбойник!

— Есть, ваше благородие! Буду помнить! — угрюмо отвечал Кирюшкин.

— Уж на этот раз не пожалею... — еще раз предупредил старший офицер, который, несмотря на отчаянность Кирюшкина, все-таки ценил в нем лихого марсового и ради одного этого не отдавал его под суд, чтобы не лишиться такого отличного матроса.

В том, что Кирюшкин и сегодня вернется в виде мертвого тела и что обещание отдать его в арестантские роты не будет приведено в исполнение, не возникало у старшего офицера ни малейшего сомнения.

Наказав боцману второй вахты следить, чтобы «эта скотина» по крайней мере не пропила штанов и фуражек и не вернулась на клипер в чем мать родила, старший офицер отдал распоряжение сажать людей на баркас.

Минут через пять баркас, полный матросами, отвалил от борта. На баркасе был молодой мичман, посланный на берег для наблюдения за гуляющими и для сбора их на шлюпку к назначенному сроку. В помощь мичману было два унтер-офицера.

2

Чайкин просто-таки разинул рот от изумления, когда ступил на набережную. Лес мачт кораблей и пароходов, ошвартованных в гавани у берега, нагрузка

и выгрузка товаров какими-то странными для Чайкина людьми, похожими на господ, а не на рабочих — до того костюмы отличались от тех, что видел Чайкин в Кронштадте, — оживление на набережной, толпа хорошо одетых «вольных людей»¹ и матросов с купеческих кораблей, среди которой не было ни одного оборванца, поливальщик улиц с кишкой брандспойта, одетый как барин, в черный сюртук и с цилиндром на голове, извозчик, читающий газету, продавец газет, здоровающийся за руку с какой-то разодетой дамой в коляске, ряд лавок и кабаков, из которых неслись звуки музыки, что-то независимое и свободное в манерах, в походке, в выражении лиц всех этих людей, начиная с маленького мальчишки, чистильщика сапог, и кончая стоящим на тротуаре с засунутыми в карманы штанов руками и сплевывающим себе под ноги с таким видом, будто и черт ему не брат, — все это поражало наблюдательного молодого матроса.

И, обращаясь к одному из двух матросов, с которыми согласился, чтобы вместе идти в лавки и погулять по городу, он воскликнул:

— И чудно здесь... Вовсе чудно, Артемьев! И совсем простого народа не видать... Все господа больше.

Артемьев, земляк Чайкина и из одной деревни, основательный и степенный матрос лет под сорок, ходивший уже раз в «дальнюю» (так матросы называют крупосветные плаванья) и бывавший в Сан-Франциско, проговорил:

— Тут, брат, и не отличить, который господин, а который простого звания, все, значит, на один фасон, и все равны... Президент у них — вроде будто, значит, короля ихнего — прямо-таки из низкого звания, дровосеком был...

— Диковина! — изумлялся Чайкин.

Все три матроса стояли на набережной, глаза по сторонам.

В эту минуту проходила какая-то девочка-подросток через толпу, и Чайкин обратил внимание, как мужчины почтительно расступались перед нею, давая ей дорогу.

— Должно, какая-нибудь генеральская дочь, что так ее уважают! — заметил Чайкин, удивленный таким отношением, — а ведь вовсе даже просто одета.

— Какая генеральская?.. Тут и генералов-то нет! — несколько презрительно возразил Артемьев. — А у мериканцев, братец ты мой, такое положение, чтобы, значит, женский пол уважать и не смей бабу обидеть... Слова дурного ей не скажи, а не то что вдарить... Совсем другой народ эти мериканцы. Вот только негрою брезгуют, точно не все у бога люди равны! — недовольно прибавил Артемьев. — Однако что стоять, валим, братцы! Наши-то все по салунам разбрелись...

— Это какие же салуны?

— А так здесь кабаки прозываются. У нас кабак, а здесь салун... Ну и много чище наших будут. Ужо зайдем.

Действительно, большая часть съехавших на берег матросов, разбившись по кучкам, уже разошлась по ближайшим кабачкам, которых было множество тут же на набережной. Знакомством с ними и ограничится знакомство большинства матросов с Сан-Франциско. Пьяный разгул, пьяные песни, нередко драки с матросами-иностранцами — вот единственные развлечения матросов прежнего далекого времени.

И у кого поднимется рука, чтобы кинуть в них камень осуждения? У кого хватит духу обвинить этих тружеников моря, этих покорных рыцарей тяжкого

долга, этих простых, темных людей, которые в дурмане спиртных напитков ищут веселья и радостей, ищут забвения действительности, далеко к ним не ласковой.

Кирюшкин, ни в одном из иностранных портов, посещенных «Проворным», дальше ближайшего в них кабака ни разу не заходивший и потому, вероятно, находивший, что «заграница ничего не стоит» и что русская водка лучшая в свете, уже сидел в одном из самых плохоньких кабачков за столиком у окна в компании трех таких же отчаянных пьяниц с «Проворного», каким был и сам.

Выпивший для начала большой стакан крепчайшего рома одним махом, чем заставил негра «боя» (слугу) вытаращить глаза от изумления, Кирюшкин выразительными пантомимами потребовал бутылку того же напитка и, разлив его по стаканам, любовно цедил из своего стакана, перекидываясь отрывистыми словами с товарищами.

— Куда, Вась? — окликнул он проходившего мимо Чайкина.

Три матроса остановились у окна.

— В город погулять, Иваныч. И кое-что купить в лавках.

— Правильно, матросик. Иди гуляй как следует, честно и благородно... И винища этого лучше и не касайся... А уж я выпью за твое здоровье... чтоб ты цел остался... Ты — парнишка душевный, и я, брат, тебя люблю... Жалостливый...

И с этими словами Кирюшкин опорожнил стакан.

— Прощай, Вась... Ужо завтра будут меня форменно шлифовать, так, может, в лазарет снесут, так ты зайди...

— Зайду, Иваныч... А пока что прощай!

Минуту спустя Чайкин раздумчиво проговорил:

— А и жалко, Артемьев, человека.

— Это ты про Кирюшкина?

— То-то, про него.

— Сам виноват. Не доводи себя до отчаянности, не пей безо всякой меры. Пропащий вовсе человек. И быть ему в арестантских ротах! — строго проговорил Артемьев.

Молодому матросу показалось, что все, что говорил Артемьев, может быть и справедливо, но это суждение не нашло отклика в его добром сердце. Виноват не виноват Кирюшкин, а все-таки его жалко.

И он спросил:

— А старший офицер отдаст его в арестантские роты, Артемьев?

— Наверяд. А что завтра снесут его после порки в лазарет, это верно.

— И Кирюшкин так полагает. Зайти к ему в лазарет просил.

Вскоре три матроса, держась за руки, вышли на большую улицу Montgomery-street и пошли по ней, глаза на высокие большие дома, сплошь покрытые объявлениями, на роскошные гостиницы, на витрины блестящих магазинов, на публику.

Они долго бродили по улицам и, наконец, зашли в одну из лавок, попроче на вид, сняли шапки и робко остановились у прилавка.

Черноватый приказчик с цилиндром на голове, жевавший табак, вопросительно посмотрел на русских матросов.

— Спрашивай, Артемьев, насчет рубах. Ты знаешь по-ихнему! — заметил Чайкин.

— То-то, забыл, как по-ихнему рубаха... А знал прежде.

Но сообразительный янки вывел матросов из затруднения. Он тотчас же достал несколько матросских рубах, штанов, фуфаяк, башлыков и все это бросил на прилавок перед матросами.

Они весело закивали головами.

— Вери гут... Вери гут...² Вот это самое нам нужно. Догадливый, братцы, мериканец! — говорил Артемьев.

— А как цену узнаем? — спросил Чайкин.

И об этом догадался янки.

Он показал рукой на башмаки и поднял три пальца, показал на рубахи и поднял палец и потом половину его, тронул фуфайку и поднял один палец.

Все это он проделал быстро, с серьезным видом и затем отошел к витрине и стал смотреть на улицу, не обращая ни малейшего внимания на покупателей.

— Значит, три доллара, полтора и один. А доверчивый! Другой придет и стянет что у такого купца! — заметил Артемьев.

— Видно, полагается на совесть, — промолвил Чайкин.

Матросы стали рассматривать вещи с тою внимательностью, с какою это делают простолудины, для которых дорога каждая копейка и которые поэтому с подозрительно осторожностью приступают к покупке. Они ощупывали ткань, подносили вещи к свету, рассматривали на башмаках подошвы и гвозди.

— Товар, братцы, хороший. Только надо поторговаться. Мусью! — поднял голос Артемьев.

Янки подошел, и между ними произошла такая мимическая сцена.

Артемьев, указывая на башмаки, показал два пальца.

Приказчик, не говоря ни слова, отрицательно мотнул головой.

Тогда Артемьев показал еще четверть пальца, наконец половину.

Результат был тот же самый. То же было, когда Артемьев мимикой давал девелле назначенной цены за рубахи и фуфайки. Янки отрицательно махнул головой.

— Не уступает. Валим в другие лавки! Может, вернет!

И матросы пошли к дверям, но приказчик и не думал ворочать покупателей.

Они вышли на улицу, и Чайкин сказал:

— Не по-нашему вовсе... Чудно... Без запроса!

Побывавши в нескольких лавках и убедившись, что везде спрашивали такую же цену (ни центом более или менее), матросы возвратились в первую лавку, где приказчик показался им самым понятливым и обходительным, и после нового тщательного осмотра и примерок вещи были куплены.

Чайкин отдал фунт. Приказчик сперва бросил золотой на прилавок и, когда раздался звон удовлетворительный, показавший, что монета не фальшивая, он положил золотой в кассу и отдал Чайкину несколько серебра вместе со счетом, в котором было, между прочим, обозначено, сколько долларов дали за золотой.

Чайкин смотрел на счет, ничего не понимая. Однако спрятал счет в карман и при помощи Артемьева не без труда рассчитал, верно ли ему разменяли золотой, не надул ли американец. Оказалось, что совершенно верно, и Чайкин удовлетворенно проговорил:

— Видно, здесь торговцы на совесть... Не то что в Кронштадте.

Когда они вышли из лавки на улицу, Артемьев сказал: